

Евгений Павлов

Свет горел
ВСЮ НОЧЬ

Евгений Павлов

Свет горел всю ночь

«Автор»

2026

Павлов Е.

Свет горел всю ночь / Е. Павлов — «Автор», 2026

1977 год, СССР. В посёлке Берёзки старший метеоролог Николай Крылов найден мёртвым в своём домике: удар током, несчастный случай. Единственное, что не сходится: свет в домике горел всю ночь, а пробка цела. Шестидесятидвухлетний физик Александр Петрович Громов, сорок лет записывающий наблюдения в журнал — от температуры на чердаке до капли с крыши, — знает: метеоролог не стал бы в такую погоду трогать провода. Он измеряет то, чему не придумали прибора: время, когда горел свет; клён, стоящий в воде «на два пальца»; третью чашку, которую ставят «на всякий случай». Тайна, скрытая между строками журнала наблюдений, уже закрыта милицией. Громов расследует не по долгу службы — потому что его друг не мог умереть так, как написано в чужом заключении. Этот уютный детектив с элементами *fair play* предлагает читателю все улики до финала. Тёплая атмосфера советской весны, интеллигентный юмор и неожиданный поворот заставят вас переосмыслить каждую страницу.

© Павлов Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	11
Глава 4	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Евгений Павлов

Свет горел всю ночь

Глава 1

Громов проснулся без будильника, как всегда, в семь. Лёг спать в одиннадцать, значит, выспался. Внутренние часы за годы службы ни разу не подвели — ни в командировках, ни когда телефонный звонок заставлял считать не часы, а минуты.

Снег таял третий день. Капель из трубы падала не густо, раз в две секунды, и он, вчера, не отвлекаясь, отметил в «Журнале наблюдений» промежуток — по каплям можно было судить о температуре на чердаке, если знать, что с крыши свезли снег. Он знал.

Чихать ему ещё рано: мая не было, середины августа не было, пыльца не летела. Зато пахло землёй. Это был смолисто-грибной запах, напоминающий мокрую стружку на лесоповале. Громов открыл окно спальни, вдохнул два раза и закрыл. Запах он записывал редко: слов для запахов не хватало, и он не верил словам, которым не хватало точности.

Клара Исааковна спала. Она вставала в восемь пятнадцать, и это время не обсуждалось, как не обсуждался завтрак: каша, чай, четверть лимона — половина ему, половина ей, потому что целый лимон они не ели никогда. Громов оделся, надел ботинки, подошвы сухие, подбиты недавно, добрые, и вышел.

Утренняя прогулка — привычный маршрут: дверь, калитка, тропа мимо сада, поворот к ручью, ручей, мосток, обратно. Маршрут занимал двадцать две минуты при сухой погоде и двадцать пять — при сырой. Он шёл медленно.

Ручей был полон. Талый снег с лесных ям шёл в Берёзки третий день, вода гремела под мостком и била в косяки опор. Громов остановился на своём месте, у четвёртой перекладины, посмотрел вниз. У воды, у самой кромки, с прошлого года лежал клён, корой вверх. Громов знал этот клён, весной и осенью — он всегда был сухим, потому что лежал на камне. Теперь клён был мокрый аж до середины. Громов отметил это не как загадку, а как факт: уровень воды вырос на два пальца за ночь. Дома он запишет.

Он поднял глаза от ручья, и в этот момент увидел свет.

Домик стоял на самом краю Берёзок, за ним начинался лес. Настоящего дома в нём было мало: комната, кухонный угол, чулан, печная труба, крыша в один скат, в которую врезались сосны. Крыша мешала соснам, сосны искривлялись. Домик дали молодому специалисту два года назад, и молодой специалист, в благодарность за домик, чинил посёлку радиолы. Громов знал его по наследству и радиолы не носил: у него был приёмник, он работал. А половина Берёзок знала Крылова по рукам.

Птенец, — подумал он. — *Последний из взятых Павлом.*

Свет горел в единственном окне. Утро было светлое, без тумана, и горящая лампа в окне должна была потухнуть — так Громов понимал устройство мира: что горит ночью, гаснет утром. Он посмотрел на часы. Семь двадцать. Лампа горела уже после рассвета.

Громов не ускорил шаг. Он перешёл мосток, прошёл мимо домика до калитки — калитка была на две петли, третья петля болталась, — и постучал костяшками по притолоке. Два раза. Дверь ответила не сразу, потом — скрипом, непривычным для открывающейся двери. Запор не был задвинут.

— Олег Дмитриевич, — сказал Громов в щель. Ответа не было, и он вошёл в открытую дверь: честно, не таясь, ступая, как ступают в чужих домах, — вытерев ботинки об коврик, чтобы не наследить.

Сначала он стоял на пороге и смотрел, и в это время он уже работал, хотя руки его были в карманах пальто. Работал он так: всё, что видел, — откладывал, не трогал, не называл. Называть рано.

Комната была маленькая, и Громову хватило трёх шагов, чтобы увидеть всё. Стол у окна. Под столом — сапоги, стоящие носками к печи, как сапоги, снятые человеком, который собирался жить. На столе — схема, ручка, стакан с кисточкой, паяльник в подставке. Лампа горела. У печи, на гвозде, висела переноска — провод у вилки был перевязан марлей, аккуратно, как бинтуют палец. Кресло стояло к столу под углом, как стоят кресла, которые отодвинули, вставая посреди мысли.

Крылова на кресле не было.

Он лежал на полу между столом и печью, на том месте, где ковёр кончился и начиналась доска. Лицом вверх. Одной рукой — к шнуру лампы.

Лампа горела. Шнур лампы шёл к верхней розетке, от верхней розетки — вдоль плинтуса к щитку. Дверца щитка была закрыта. Громов подошёл, открыл дверцу: две пробки, обе на месте, обе целые. Пробка сети — цела. Он закрыл дверцу и на мгновение задержал пальцы на щеколде: если пробка цела, ток, убивший человека, шёл не через пробку. Про ток он подумал потому, что думать о другом было нельзя, пока не позвали врача и не пришёл человек в форме.

Ток не выбил пробки, — запомнил он. Не вывод. Строка.

На столе, у схемы, стояла чашка. Чай в чашке был недопит. На поверхности за ночь собралась плёнка — тонкая, радужная, так плёнка бывает на чае, который оставили на вечер. Ложка лежала на блюдце. Рядом, ручкой к стене, стояла вторая чашка — чистая, сухая.

Громов достал из внутреннего кармана чёрный блокнот в клетку, отвязал резинку — резинку ему сшила Клара, таких в магазине не было, — и написал первую строку этого дела:

Свет горел всю ночь. Пробка цела.

Потом он вышел на крыльцо, прикрыл за собой дверь — обе петли встали на место, — и пошёл к телефону-автомату у магазина. Медленно. Медленно можно заметить то, что упускаешь, когда бежишь, а мёртвое не убегает.

Капель из трубы продолжала падать. Раз в две секунды.

Глава 2

Ершов приехал на «Победе» через двадцать минут — быстро для Берёзок. Сержант был усат, моложе Громова на полжизни и почему-то спешил. Фельшер приехал следом, на велосипеде, с чемоданчиком, который гремел на кочках. Они вошли в домик вместе, а Громов остался у калитки, потому что ему не было нужды смотреть то, что видели все.

Он смотрел на посёлок.

Берёзки проснулись к половине девятого. Сначала открылась дверь дома № 5 — Лариса Ефимовна, с корзиной, за молоком: платок повязан по-хозяйски, манжеты закатаны. Она всегда уходила за молоком так, будто молоко могло пропасть без неё. Потом скрипнула дверца шкафа у объявлений — завуч, женщина с очками на цепочке, повесила листок за стекло; сегодня стенгазета занимала весь шкаф: «СУББОТНИК. Выходной день — не для отдыха!» Дальше — Баба Маня, в валенках и шали, вышедшая к своему забору из любопытства; любопытство её не подвело, и она осталась. К девяти часам у домика на краю собралось уже около семи человек. Держались на расстоянии пяти шагов и говорили тихо, хотя мёртвого уже не разбудишь.

Ершов вышел в одиннадцать часов, снял фуражку, отряхнул её о колено, хотя снега на земле не было уже неделю.

— Электротравма, — сказал он Громову, не глядя на домик. — Несчастный случай. Проводку городил, жучок, наверное, стоял, все знают, что такое жучок. Проверим, конечно. Но по виду — сам.

— Пробки целы, — сказал Громов.

— Знаю, я щиток видел, — Ершов надел фуражку. — Пробки целы, а он мёртв. Вот и вся загадка, Александр Петрович. Короткого замыкания не было.

Он помолчал, поскрипел ботинком о гравий.

— Завтра субботник. Я должен быть на субботнике. Закроем как несчастный случай, бумаги оформим, всё по чести. — Ершов поскрипел ботинком о гравий ещё раз. — Вы мне скажете, если что.

Это было не просьбой и не приказом. Это было по-берёзовски: между «сами разберёмся» и «нам тихо». Громов кивнул. Он ничего не обещал — Ершов это знал, с Ершовым так было можно.

К вечеру Громов обошёл маршрут, который составил сам, не торопясь: калитка домика, дядя Стёпа, Баба Маня, Лариса Ефимовна, школа, магазин. Шесть точек. В каждой точке он задавал не больше трёх вопросов, потому что люди, отвечающие на десять вопросов, начинают выдумывать.

Дядя Стёпа чинил телефонный аппарат у магазина. Сидел на табуретке, как на троне, весь в катушках; железные очки съехали на нос, одна дужка перевязана ниткой, и от нитки этой пахло канифолью. Увидев Громова, он кивнул на ящик из-под гвоздей, поставленный рядом, — приглашение, которое в Берёзках стоило выше всяких любезностей.

— Присядешь?

— Постою.

— А я бы присел, — сказал Стёпа и сам, впрочем, не присел. — Проводка у Олежки плакала, — сказал он, не прекращая работы. — Ещё зимой. Я ему говорю: жучок — это не проводка, жучок — это обещание беды, медная перемычка, понимаете. Он смеётся. Золотые руки, а сам живёт как в палатке. — Стёпа откусил изоляцию зубами; зубы у него были рабочие, железные по звуку. — В среду я у него розетку чинил, верхнюю. Он бы и сам её починил, ему паяльник легче расчёски, — но до своего у него руки не доходят. Вот я и хожу. Жучок стоял. Я его отругал, он опять смеётся. Человек смеётся — не думает.

— Кто ещё проводку трогал?

— Да никто. Кроме меня — никто не смел. А что случилось-то? — Стёпа впервые посмотрел на Громова. — Жучок-то где?

Громов не ответил. Вторая строка в блокноте сложилась сама: *В среду жучок стоял. Утром пятницы — нет. Но пробки целы. Кто менял — неизвестно.*

Баба Маня жила через забор от домика, и Громов, подходя, уже знал, как пройдёт этот разговор: сначала она сделает вид, что просто вышла проверить, не украли ли тряпку, потом — что тряпка ему интересна, а уж потом расскажет всё.

Тряпка висела на пролёте. Баба Маня стояла рядом в валенках и шали цвета куриного бульона, придерживаясь за перекладину узловатыми руками — будто забор держал её, а не она забор. Увидев Громова, она поправила очки, хотя на носу их не было.

— Здравствуй, Александр Петрович. Иди, иди, не стой в грязи, тут у меня доски положены.

Громов встал на доски. От кухонного окна пахло щами — ужин был в самом разгаре, и ложка стучала о кастрюлю с той стороны, с привычным, многолетним звуком.

— Извини, что вечером. Не доедятся щи без тебя?

— Ой, да что ты, — она махнула рукой, и рука эта сразу вернулась на пролётину, потому что держаться было нужно. — Я с утра туда-сюда хожу, а кругом одни серьёзные лица, Ершов курил у магазина. Ну я и подумала...

Громов ждал. Он умел ждать так, что люди продолжали сами — от неловкости, от любопытства, от щей.

— Я видела, кто к нему хаживал, — сказала она наконец, и голос стал другим: в нём появилось достоинство человека, у которого есть что рассказать и который это знает. — Молодой. Смешной такой. Пришёл в четверг, днём. Стоят у калитки, и он его смешит — Олежка-то хохочет, аж окно у меня дребезжит. У меня окно открыто, я всё слышу. «Крылов, — говорит тот, — а Крылов, у тебя даже провода поют!»

Она повторила это с таким точным чужим голосом, что Громов отметил: память у неё на слова, не на время. В щель открытого окна было видно стол, скатерть, недоеденный хлеб.

— А когда ушёл?

— А вот этого я не скажу, — Баба Маня прижала к себе пролётину, как вдруг замёрзшая. — Я ужинала. А когда я ужинаю — я не смотрю в окно, я человек стеснительный.

Громов кивнул и сделал вид, что поверил. Это было важно: людям, которым не верят, начинают выдумывать вдогонку, а ему нужно было то, что было.

— Олежка потом один за столом сидел, — добавила она уже сама, тише. — Лампа горела. Я один раз посмотрела — перед самой тёмной ночью. Мне спать ложиться, а свет у него горит.

Она помолчала, глядя не на Громова, а поверх его плеча, на тот край посёлка, где за домом начинался лес.

— Горел, говоришь.

— Горел, — она кивнула и вдруг перекрестилась — быстро, на бегу, как делают всё привычное. — Он ж тихий был, Олежка. Тихие, они... ну ладно, иди, иди. Щи остынут.

Громов поблагодарил и пошёл. За спиной ложка опять застучала о кастрюлю — с тем же звуком, как стучала двадцать лет, и он подумал, что у Бабы Мани даже щи говорят одно и то же.

Лариса Ефимовна встретила его у ворот с корзиной — молоко всё-таки могло закончиться без неё. Фартук она за день так и не сняла: третье окно мыла. Окна она мыла часто и охотно — кто моет окна, тому всё видно и ничего не пришивается. Во дворе за её спиной курица клевала разведённую золу.

— Ох, Александр Петрович, — сказала она, и это было не приветствие, а вздох. — Мальчишка. Павел Андреевич его, знаете, как звал? Пташечкой. — Павел Андреевич был Семёнов, покойный заведующий кафедрой, человек, у которого Громов сам когда-то был молодым

специалистом; не путать с Петровичем, который был просто Петрович и ничем больше. — А Клара Исааковна мне ещё тогда: не ройся, Лариса, не твоё дело. — Она обиженно помолчала, хотя Громов ничего не спрашивал. — Неделю назад они ругались. Он с невестой. Я окно мыла, поэтому не прислушивалась, а слышно было: «Москва, — говорит она, — и всё, и решено». А он: «Подожди, подожди». Кто у мужчин подожди хоть раз дождался?

— Он собирался в Москву?

— А кто их знает. Учительская там, у них, шепталка. Ольга Егоровна после этого неделю в школу сухим ходила, а вчера чуть не плакала на перемене, завуч сама рассказала.

Громов записал: *Москва. «Подожди».* Не вывод: список слов, которые кто-то сказал. Слова людей — тоже следы, только плохо сохраняющиеся.

Школа пахла мелом и мокрой шерстью — апрель, пальто сохли в раздевалке, все ученики простужены по обязанности. Учительница вышла к нему в коридор, потому что в класс чужих дядьев не пускали. Ольга Егоровна Майская была сухая, собранная, как человек, который решил не распадаться до вечера: волосы убраны туго, на рукаве темного платья — след мела. Громов, глядя на неё, подумал то, что думают не вслух: *Невеста*. Слово было старое, бережное, и он берёг его.

— Простите, — сказал он. — Я сосед. Я знал Олега Дмитриевича по институту, по Павлу Андреевичу.

— Он говорил про вас, — сказала она. — «Доктор наук, — говорил, — ходит медленно, а всё видит». — Губы её дрогнули и выровнялись. — Спросите, что вам нужно, мне ещё уроки проверить.

— Он ждал чего-нибудь в последнее время? Письма?

Она посмотрела на него внимательно, оценивающе — учительский взгляд, перед которым провинился бы любой.

— Ждал, — сказала она наконец. — От журнала. Статья у него была, он всё ходил к Галкиной, спрашивал, не пришло ли. А потом перестал ходить. А потом как будто испугался — я ночью просыпалась, он писал за столом, не спал. Я говорю: Олежа, что случилось? Он говорит: «Ничего. Письмо потерялось». — Она помолчала. — Письма не теряются. Я учительница. Я знаю, что теряется, а что не теряется.

Громов записал у школы, стоя на той же меловой пыли: *Ждал письмо. Потом испугался.* И добавил, подумав: *Письма не теряются. (О.Е.)* — потому что чужие точные слова он записывал с хозяйкой, как экземпляры.

У магазина очередь гудела о субботнике — кто берёт грабли, кто несёт лопату, кто «в этом году не пойду, нога болит», а пойдёт. Из трёх разговоров о Крылове Громов узнал имя приходившего к покойнику и собрал пять шуток Окунёва. Все пять рассказали со смехом. Время, когда Окунёв ушёл в четверг, назвали четыре раза — и все четыре по-разному.

Шутку запомнили, — записал он. — Время — нет. (4 свидетеля, 4 версии)

Дома было четыре. Громов вошёл через сени, вытер ботинки уже на пороге — по привычке, которую за сорок лет ни разу не проверяли, — и понял по кухне, что чай состоится: чайник стоял на плите, а на столе, на клеёнке с обтрёпанным краем, лежал лимон. Клара резала его всегда при нём, перед самым чаем, — чтобы был свежим: нарезанный заранее чахнет, а она терпеть не могла чахлого лимона в чашке.

Клара Исааковна стояла у плиты спиной, и спина эта, прямая ещё с учебной скамьи, сказала ему всё: она слышала шаги с тропы и уже собралась. Она повернулась — в очках с дужкой, подклеенной пластырем, с карандашом в волосах, которым утром наметала ноты и забыла, — посмотрела на него поверх очков, как смотрела всё серьёзное: сначала долго, потом ещё немного.

— Садись. Снимай пальто, не мёрзни у своего собственного стола.

Он сел. Она поставила чайник, села напротив, подперла щеку — рабочая поза, поза человека, который собирается слушать и не будет жалеть.

— Олег Дмитриевич Крылов, — сказал Громов. — Аспирант Павла Андреевича. Жил на самом краю. Вчера вечером умер. Ершов говорит — несчастный случай.

Клара слушала. Чайник не кипел ещё, и на кухне было тихо — слышно было, как за окном капель из трубы: раз, другой, третий. Раз в две секунды. Громов не глядя знал, что она считает вместе с ним: она всегда считала то, что можно посчитать.

Руки её на столе лежали ровно, пальцы длинные, с натруженными подушечками, — эти руки он знал дольше, чем свой собственный почерк. Они не дрогнули. Только большой палец правой, привыкший выстукивать пульс ученикам, дважды постучал по клеёнке — тихо, в стол, без ноты.

— Я его помню, — сказала она наконец. — Олежку этого. Павел Андреевич приводил как-то — Маринка ещё ёлку с нами наряжала. Стоит у дверей, чужой, а смотрит так, будто ему в окно выдали. Потом Павел Андреевич ему: «Ну что, пошли», а он ещё постоял. Я тогда себе сказала: не ройся. А теперь вот. — Она сняла очки и стала протирать их краем фартука, хотя на стёклах не было ничего. — Сам, говоришь?

— Ершов говорит.

— А ты что говоришь?

— Я ничего не говорю. Я записал.

— Записал — это ты много говоришь.

Она встала, и он уже знал, что она сделает: сняла с полки третью чашку — голубую, с опилённым ободком, из тех, что не ставят гостям, потому что она осталась от сервиза, а сервиз этот в доме был старше Марины, — вымыла её, хотя чашка была чистая, и поставила на стол. Между ними.

— На всякий случай.

— Какой случай?

— А кто его знает, — сказала Клара Исааковна. — Бывают случаи.

Чайник закипел. Она заварила — крепко, по-пятничному, — четверть лимона разделила: половина ему, половина ей, как всегда, и они молча выпили первый глоток: она глядела в своё окно, он — в своё. Третья чашка на столе остывала, и никто не подвинул её.

Потом Громов открыл блокнот на чистой странице и написал последнюю строку дня:

В четверг у Птенца был гость. Гость смешной. Все помнят шутки. Никто не помнит, когда он ушёл.

— Всё? — спросила она.

— Всё. Пока всё.

Она кивнула и начала собирать чашки — свою, его и третью, голубую, — и у раковины задержалась с ней в руках на одну секунду дольше, чем нужно для мытья.

Глава 3

Субботник начался в девять, как и было обещано стенгазетой, которая занимала весь шкаф. К девяти пятнадцати у объявления стояло человек сорок, и все знали, зачем пришли: с граблями, с больной ногой, и просто со своим мнением. У крыльца клуба командовала Валентина Игоревна — из совета, в варежках разных: раздавала участки, не спрашивая, хочет ли кто. Петрович молча возил листву двумя вилами, самый исправный на площадке, и в стороны не смотрел — ему ли не знать, что работа не ждёт любопытных. Громов взял метлу, отметив про себя, что метла ему по плечу, подметал тридцать минут аккуратно, как всё, и к десяти Валентина Игоревна сказала ему, что он «уже отработал», — в Берёзках стариков увольняли от субботников с чувством долга, а не с чувством вины.

Он не пошёл домой сразу: зашёл за папкой, перекусил у своей плиты и к полудню вышел к остановке — в субботу рейсов меньше, чем по будням, а в пол-первого как раз шёл один. Время он знал без расписания, как всё в Берёзках. У будки ждали двое: мужик с мешком, из которого торчала картошка, и девочка с бидоном. Автобус пришёл вовремя, и все трое вошли в него с лицами людей, которым не пришлось ждать.

Институт встретил его пустым коридором и запахом мела — суббота, уборка шла даже здесь, в четвёртом подъезде баба Дуня двигала шваброй с достоинством министра.

— В субботу кабинеты закрыты, — сказала она, не поднимая головы от пола. — Значит, не по кабинетам пришёл.

Громов поднялся на второй этаж, прошёл мимо кабинета Павла Андреевича. Дверь была закрыта, табличка «Семёнов П.А.» ещё висела на своих гвоздях — медные, Павел их сам вырезал: «Табличка не должна шататься, Громов. У человека фамилия одна». Громов помнил его у этой самой двери с чайником в руке: выйдет, спорить будет до обеда, чай допьёт — ещё до вечера. Молодых он брал без объявлений. «Пойдём, — говорил, — посидим». «Посидим» у Павла Андреевича значило — взятый. Громова он так взял сорок лет назад, и Громов до сих пор не выяснил, чем за это платят, — платил тем, что приходил. А под табличкой, на кнопке, бумажка: «Вопросы — в лабораторию, к исполняющему обязанности».

Исполняющий, — отложил Громов и открыл дверь лаборатории.

Буров стоял у окна с телефонной трубкой и говорил в неё так, будто трубка была виновата. В лабораторном халате поверх рубашки, сутулый, очки съехали на кончик носа. Увидев Громова, он не положил, но прикрыл ладонью мембрану — жест человека, которому есть что прикрывать, или человека, который любит, когда ему кажутся, что у него есть что прикрывать.

— Да. Да, приём, — сказал он и положил. — Александр Петрович. Редкость.

— Я по похоронам, — сказал Громов. — Олега Дмитриевича.

— Организационные вопросы решаются, — Буров обошёл стол, не садясь, и этим сразу обозначил длину разговора. — Оформим по линии института. Павел Андреевич взял бы этого мальчика, значит, институт его доводит до места. Земля и транспорт — через профсоюз, я подпишу.

Мальчика, — отложил Громов. Двадцать девять лет, четвёртый год аспирантуры, статья в журнал — а для Бурова «мальчик», которого «взял» Павел, как берут в поход. Он ничего не сказал. Называть человека малым — тоже след, плохо сохраняющийся, но след.

— Он работал здесь самостоятельно? — спросил Громов.

— Несамостоятельно, — сказал Буров быстро и точно, как отвечают на вопрос, к которому готовились. — В рамках общей темы лаборатории. Тема — Павла Андреевича, Павел Андреевич её, к сожалению, не закончил, и работа осталась общей. — Он посмотрел на часы, которых на его руке не было. — Вы, я слышал, наблюдательный. Но это внутреннее дело института, Александр Петрович. Следствие закрыто.

— Замкнуто, — согласился Громов. — Я по похоронам.

Буров проводил его взглядом до двери — долгим, тяжёлым, как занавес.

В коридоре, у стенгазеты, Громов остановился и прочитал её дважды. «ЮБИЛЕЙ ЗАКОНА. 150 лет великому открытию. Коллектив поздравляет... Лекцию к юбилею читает канд. физ.-мат. наук А.И. Буров. Сбор в актовом зале». Ниже — портрет: человек с мрачным лицом и циркулем в руке, подпись мелко, фамилия одна. *Ом*, — прочёл Громов. Он знал эту фамилию так же, как знал соседние участки: не входил, но знал, где забор. Курс, который он читал аспирантам, начинался не с него, но соседствовал.

Он не знал пока, что юбилей ещё скажет ему «да». Он записал в блокнот только: «Лекция — Б. Готовил кто?»

Прасковья Тихоновна Галкина сидела в конце коридора за столом, на котором лежало всё, что в институте когда-либо терялось и находилось. Ключи висели на гвозде по порядку, журналы стояли по годам, и телефон на стене звонил так, будто звонил в её собственность.

— Александр Петрович, — сказала она, не удивившись. Она не удивлялась никому: всё уже случилось, раз вы пришли. — По Олежке?

— По Олежке, — сказал Громов и сел на стул напротив, потому что сидеть у Галкиной было положено. — Похороны. И ещё одно. Он ждал письмо.

— Входящего не было, — сказала Галкина мгновенно, и пальцы её уже листали журнал, привычным жестом, как другие молятся. — Я веду. Личного — нет. На лабораторию — нет. Вот, смотрите сами.

Громов смотрел. Строки были ровные, буквы торопливые, но честные. С третьего апреля — ничего на имя Крылова.

— А исходящее? — спросил он.

— Исходящее я тоже веду, — Галкина достала второй журнал, тоньше, и из ящика стола — коробку с квитанциями. — Написал он его двадцать седьмого марта, дома, а принёс мне в понедельник — я и отправила. А потом ещё одно было — вот, квитанция. Третье апреля ушло.

Громов взял квитанцию. Штемпель круглый, синий: «03.04». Вес двадцать грамм. Подпись почтового работника неровная, живая.

— Он сам принёс?

— В четверг вечером, — Галкина кивнула. — Я в субботу отнесла. А письма всё не было — я ему сама сказала: вашего письма нет, Олежа. Он какой-то... побелевший. А до того спрашивал ещё, не приходил ли конверт «на личное», может, с дальней дороги. Я говорю: нет, Олег Дмитриевич, я бы знала. Я всё знаю, что приходит, — она постучала пальцем по журналу. — Письма не теряются, Александр Петрович.

— Письма не теряются, — согласился Громов. Он переписал в блокнот: «Исх. Крылова, шт. 03.04, 20 г». И ещё, подумав: «В четверг вечером — Галкиной».

— А кому писал — не знаете? — спросил он.

Галкина помолчала. Впервые за разговор она молчала, и молчание было её единственной нечестной вещью.

— В журнале не пишут, кому, — сказала она наконец. — Я всего лишь секретарь.

Громов кивнул и встал. У двери он обернулся — Галкина уже держала трубку, набирая номер, но набирала медленно, глядя на него, и рука её остановилась на последней цифре.

— Александр Петрович, — сказала она в трубку или в комнату, непонятно. — Он хороший был. Тихий. Тихие, они... — она не договорила, потому что телефонный этикет запрещал договаривать.

— Знаю, — сказал Громов.

Дома он был четыре часа. Клара Исааковна стояла у плиты, и по тому, как она стояла, Громов понял: звонили. Марина. Дочь сказала, что приедет в мае, на майские, «посмотреть,

как вы тут», и Клара Исааковна теперь решала для себя сложную задачу: как жить оставшуюся неделю, зная, что через восемь дней придет Марина.

— Она сказала «как вы тут», — передала Клара. — Она всегда так говорит. Как будто мы тут стоим на полке, и она приезжает смотреть.

— Мы и стоим, — сказал Громов. — Только не на полке. На участке.

— На участке, — согласилась Клара Исааковна и взяла с подоконника лейку. — Тогда я пойду, фиалки ждут с утра.

Глава 4

Воскресенье в Берёзках начиналось без будильника: никто никуда не опаздывал, даже капель — она капала с той же крыши, третий день, и было в её темпе что-то постоянное, что Громов ценил выше точности.

Он вышел к крыльцу с чашкой. Клён стоял в воде на два пальца — ровно столько, сколько в пятницу утром. Ночь ничего не прибавила, только отняла снег с крыши: капель у входа была в доски, и доски темнели.

Клара Исааковна уже ходила по дому с тряпкой. Она объявила воскресенье уборкой, потому что «через неделю приедет Марина, а дом должен выглядеть так, будто мы живём в нём всегда». Громов не спрашивал, почему «всегда» через неделю выглядит хуже, чем «всегда» вообще. Клара Исааковна заказывала музыку, и всё должно быть как по нотам. Она натянула перчатки и пошла в Маринкину комнату: открыть окно, стряхнуть пыль, выставить подушки на воздух. Комната с сентября ждала хозяйку — нафталином пахло и стоянием.

Он сел к столу, открыл «Журнал наблюдений», дописал утро: «Тает. Капель та же. Клён — на два пальца и стоит». И сказал вслух:

— Сегодня День Ома.

— Чей? — Клара Исааковна появилась в дверях с тряпкой, как появляются на вызов.

— Георга Симона. Сто пятьдесят лет закону.

— Поздравляю закон, — сказала Клара. — А ты к нему с чем ?

Громов подумал. С чем — он знал. С четвергом.

— С карандашом, — сказал он.

Книга лежала на верхней полке, среди тех, кого берут редко: тёмный коленкор, тиснение стёрто настолько, что осталось одно ощущение тиснения. На форзаце — его собственный подчёрк, двадцатилетний, торопливый: «2/VII-38». Книга пережила ту руку и стала снова нужна: так бывает с книгами чаще, чем с людьми.

Глава называлась просто: «Закон Ома». Громов читал медленно. Медленно можно заметить то, что упускаешь, когда бежишь.

Он читал о металлах, о соли в растворе, о теле человека — «сопротивление кожи зависит от её состояния и во влажной среде падает в десятки раз». Это он подчёркнул. Подчёркнул и место про цепь: «...при замыкании через тело человека ток находит путь наименьшего сопротивления». Несогласное читал без карандаша — так читают чужую газету в чужом доме. Он знал, что читать, чтобы убедиться, — слабый способ чтения. Но дело было не академическое, дело было четверговое, и в четверговых делах он доверял себе больше, чем академии.

В конце главы стояла справка, короткая, как некролог: «Ом (1789—1854). Долгое время — школьный учитель. Основной труд, вышедший в 1827 г., не встретил признания. Медаль Лондонского королевского общества — 1841. Кафедра в Мюнхене — 1849». Громов перечитал справку дважды. Потом взял карандаш и написал на поле одно слово: «Ответ».

— Обед! — крикнула Клара Исааковна, и День Ома кончился в полдень, как положено праздникам, которые никто в посёлке не заметил.

Днём он вышел пройтись. Маршрут был проторённый — двадцать две минуты, в сырую погоду двадцать пять. Школа стояла на своём месте, тёмная, как положено школе по воскресеньям, и только у проходной копошился человек в резиновых сапогах: сторож Никифор, с ломом, над замком.

— Здравствуй, Никифор.

— Здравствуйте, Александр Петрович. — Никифор головы не поднимал. Голова у него была узловатая, седая, как берёза после апреля. — Воскресенье — а замки ломают.

— Кто ломает?

— Да кто угодно. — Никифор повернул ключ; замок послушался. — Нынче ломают все. А раньше, бывало, ночью посёлок сам себя видел: огни, силуэты, кто мимо чьего окна шёл. Теперь телевизор. Спишь — а посёлок сам себя не видит.

— Замок починился?

— Починился. — Никифор поднялся, сплюнул в лужу, научно. — До службы.

— До службы.

Громов пошёл дальше, мимо магазина. Телефон-автомат стоял под своим козырьком, мокрый и молчаливый, с таким видом, будто знал номер, но не набирал.

Дома Клара Исааковна уже ставила чайник. Чай был в четыре, как положено в воскресенье, когда всё положено. Лимон она резала пополам, потом ещё раз — по четвертинкам, как всегда. Третья чашка стояла на своём месте: третий день, и никто не спрашивал, для кого. В Берёзках знали, для чего стоят пустые чашки. К чаю она поставила магазинное печенье — из кулёчка, к чаю с книгой годится.

— Ну что, Ом сказал тебе что-нибудь? — спросила Клара.

— Сказал. Что отвечают поздно.

Он рассказал ей про книгу, про справку, короткую, как некролог.

— Он написал закон в двадцать седьмом, — сказал Громов. — Книга вышла и не встретила признания. Он был школьным учителем, а закон — вещь для академий, и академии решили, что учителю такое не положено. — Громов отпил. — Он писал письма. Одно — Фурье. Фурье тогда стоял выше, чем институт над посёлком: виден отовсюду, отвечать не обязан. Фурье изучал тепло — тепло тогда было актуальней электричества, — и на письмо не ответил. Так и не ответил: умер в тридцатых, а Ома за закон наградили медалью в сорок первом.

— Четырнадцать лет, — сказала Клара Исааковна. Она считала быстрее, чем слушала.

— Четырнадцать, — согласился Громов. — Ом дождался.

— А Фурье?

— Фурье нет.

Клара Исааковна помолчала, разглаживая салфетку, которую и так не было видно за чашками.

— А у нас Галкина бы заставила Фурье ответить, — сказала она наконец. — Она бы сама написала: «Господин Фурье, вам пишут». И доставила бы.

— Письма не теряются, — сказал Громов.

— Письма не теряются, — согласилась Клара Исааковна серьёзно, и Громов понял, что она думает не о Фурье.

— Ты в книге карандашом написал, — сказала она вдруг. — Я видела, когда полку открывал. Ты же в книгах карандашом не пишешь.

— Своя книга.

— Своя, — согласилась Клара. — А пометки-то чьи будут?

Громов не ответил. Пометки будут его — и от этой мысли стало неловко, как бывает, когда заглядываешь себе через плечо.

— Юбилей справляют для закона, — сказал он. — С людьми — годовщины, и те не у всех.

— Тогда завтра идти надо, — сказала Клара Исааковна. — Похороны.

— Пойдёшь? Ты его близко не знала.

— Я с тобой, — сказала Клара, и это был не разговор, а решение.

Вечером Громов дописал «Журнал наблюдений»: «24.04 — Таёт. Капель реже. Клён — на два пальца и стоит». Потом взял чёрный блокнот, открыл на чистой странице, положил рядом карандаш — и ничего не стал доказывать. Вывод был готов: аккуратный, ровный, удобный. Удобные выводы он никогда не писал. Всемто этого одной строкой: «Ом. Прочитан, помечен. Четырнадцать лет — ответ».

Свет погасили в одиннадцать. В четверг он горел дольше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.